

Розанов В. В. На фундаменте прошлого [Рец. на:] Казанский П. С. Власть Всероссийского Императора. Очерки действующего русского права. Одесса, 1913 // Богословский вестник 1914. Т. 1. № 1. С. 174–181 (2-я пагин.).



## КРИТИКА.

### I.

#### На фундаментѣ прошлаго.

Власть Всероссийского Императора. Очерки действующего русского права. П. Е. Казанского, ординарного профессора, декана юридического факультета, Императорского Новороссийского университета. Одесса. 1913 г. XL+960 стр.

— Ничего не подълаешь... Много дѣлали.

— Кто?

— Цари, Цари. Всѣ занимались личными своими дѣлами, они занимались общимъ дѣломъ. Всѣ дремали, они бодрствовали. Раньше всѣхъ взялись за общий трудъ,—не ихъ „Романовскій трудъ“, не ихъ—„Рюриковскій трудъ“, а за трудъ „всѧ Россіи“. Понукали, вели, наказывали. Строго наказывали. Жестоко наказывали. Прощали. И наказанъ-ли *кто*.— говорили: „отъ Него“, и награжденъ-ли бываль кто,— говорили: „Онъ далъ“.

Все „Онъ“, „Они“. Все одно имя. Куда ни повернись, война-ли, миръ-ли, народный-ли голодъ, всероссийская-ли чума, все кто-кто „Одинъ“ заботится, хлопочетъ, молится,—скорбить. И образовалась всероссийская тяга, которая—какъ только „на Руси не ладно“, „на Руси опасно“, „на Руси гибельно“,—обращаетъ взоры всѣхъ къ одной фигурѣ, одному человѣку, одному имени, который до Петра Великаго звался „русскимъ Царемъ“, а послѣ Петра Великаго и по его первому примѣру и отъ него наследованію, стала называться „всероссийскимъ Императоромъ“. Тяга эта уже есть. Тяги этой никто не можетъ взять оттого, что никто *уже*, главное *уже...* не трудился тысячи лѣтъ надъ однимъ домомъ, напишъ общимъ домомъ, гдѣ мы всѣ живемъ, питаемся, думаемъ, который насъ обусловливаетъ, а мы никакъ не можемъ его обусловить.

Что дѣлать съ „уже“... Какъ поправить, измѣнить то, что было? По-истинѣ „никто не можетъ вторично войти въ утробу матери и родиться вновь“.

И если-бы мы съ безумной торопливостью и неслыханнымъ успѣхомъ начали работать, энергичествовать, геройствовать, показали-бы себя Геркулесами и Ахиллами,—мы все-таки стали-бы прирабатывать только къ Россіи, положимъ отъ 1900 года. Побѣдили-бы Японію и отняли-бы отъ нея Корею и Сахалинъ. Но это-же вѣдь меныше Сибири. Отняли-бы у Германіи Померанію: но это меныше Прибалтійскаго края и Финляндіи. Побѣдили-бы Австрію и пріобрѣли Червонную Русь,—хорошо, прекрасно,—и все-таки эти всѣ побѣды меныше дѣль Екатерины и Суворова, Петра и его Меньшикова, Долгорукаго и Шереметева. Что-бы мы не сдѣлали *потомъ*, все будетъ меныше того, что сдѣлано *уже...*

Ужасное „уже“, непоправимое для насъ и нашихъ по-томковъ...

Непоправимое и непобѣдимое...

А разъ все „наше“ будетъ меныше, чѣмъ „ихъ“, то и тяга „къ намъ“ будетъ всегда меныше тяги „къ нимъ“. И главное, все это—„уже“, чего никакъ нельзя перемѣнить. Нельзя человѣку забыть своей бiографiи и народу нельзя забыть и перестать чувствовать свою исторiю.

Это выше нашего „хочу“ и „не хочу“, „понимаю“ и „не понимаю“. Это-то могущественное „есть“, съ которымъ вообще нельзя ничего подѣлать. Есть, совершилось. Всѣ слушаютъ, всѣ повинуются.

Пирамида „слушаний“ и „повиновенiй“ и образуетъ „наше царство“, которое лишь, во-вторыхъ, есть материальное и физическое, вещественное, военное, географическое; но, во-первыхъ-то, и прежде всего оно есть духовное царство, идеальное царство, заключающееся въ 140 миллионномъ „намъ хочется того, что Царь находить лучшимъ, и справедливымъ, и мудрымъ“.

Сказали и забыли все, а ужъ онъ заботится. *Какъ* заботится—мы не знаемъ и довѣряемъ. Довѣряемъ по 1000 лѣтъ своего опыта, когда Царь и Цари не растеряли Русь, сохранили Русь, устроили Русь.

Намъ поспать хочется. Полѣниться хочется. „Въ свои дѣлишки“ уйти хочется. Скверное обстоятельство,—и, конечно,

„лучше-бы всѣмъ пробудиться и дѣлать“. Прекрасно,—пробудились и дѣлаютъ. Но они могутъ только „постараться дѣлать“, а не то, чтобы „уже сдѣлали“... Весь секретъ исторіи въ этихъ трехъ буквахъ, въ этихъ трехъ благословенныхъ буквахъ у, ж, е. За тѣми, которые попытаются начать дѣлать, не стойтъ никакого „уже“; и какъ-бы намъ не хотѣлось довѣрять ихъ успѣшности, геню, мы все-таки можемъ лишь нудить себя повѣрить, а настоящей и полной увѣренности у насъ быть не можетъ; и потому единственно, что нѣтъ за новенькими—фатального „уже“. Съ этимъ „уже“ ничего нельзя подѣлать: оно есть душа всего, одушевляетъ на все, крѣпить надежду, вѣру. „Всѣ вѣрятъ“.

Это если—онъ.

А если мы, то является то окаянство, что:—Никто не вѣритъ.

Психологія, лежащая фундаментомъ въ основѣ всего царства.

Исправники вѣрятъ. Полицеймейстеры вѣрятъ. Пастухи вѣрятъ. Судьи вѣрятъ. Солдаты вѣрятъ. Даже воры вѣрятъ, что „можетъ казнить только Онъ“.

Вдругъ его казнить хочетъ Милюковъ. — Воръ со „Дна“ Горькаго отвѣчаетъ:

— Кто вы и почему вы меня казните?

— Я профессоръ.

— Не знаю, что такое „профессоръ“.

— „Профессоръ есть тотъ, кто читаетъ лекціи въ университѣтѣ“.

— Не знаю, что такое „университетъ“ и что такое „лекція“.

Но всякий даже со „Дна“ Горькаго знаетъ, что такое „Царь“ и даже имѣть ужасно поражающее знаніе, какое-то врожденное, переданное ему почти въ вѣковомъ трепетѣ отцовъ и дѣдовъ, что „Царь можетъ казнить“. Знаетъ это и татаринъ, и баронъ, и Сатинъ, и актеръ, и проститутка.

Коихъ невозможно объединить, невозможно въ одномъ въ чемъ-нибудь убѣдить, невозможно подъ нихъ подвести „одного общаго знаменателя“.

„Царь“,—матеріально и идеино—и есть тотъ „общій наибольшій дѣлитель“ или „наименьшее кратное число“, что ли, безъ коего задача всѣхъ матеріальныхъ и всѣхъ идеиныхъ обстоятельствъ русской жизни „не рѣшается“, а при его наличности—„рѣшается легко“. Гдѣ-то въ темномъ уголкѣ

нашей души,—притомъ души всякаго, даже анархиста,—стоить безмолвная фигура, „Царь“, безъ коего не можетъ думать, дѣйствовать и жить даже анархистъ. Онъ борется—противъ „Царя“; мы любимъ — „Царя“. Если-бы не было „Царя“, если-бы какъ-нибудь угасла его идея, то не только моя психологія, но и психологія анархиста потеряла бы стержень, около котораго она обращается. И естественно перестанетъ обращаться, т. е. мы оба перестанемъ духовно жить. Мы станемъ чѣмъ-то невообразимымъ,—„Грекомъ при Периклѣ“, „Нѣмцемъ въ эпоху реформаціи“, „Французомъ въ пору революціи“,—т. е. для насъ и въ наши времена чѣмъ-то миѳологическимъ и никому не нужнымъ, какъ только изъ насъ вынуто слово и ионятіе „Царь“. „Царь“, такимъ образомъ, эта безмолвная фигура въ душѣ каждого есть то „2“ на которое дѣлится „4“, „6“, „8“ и т. д., и т. д., „дѣлится всякая душа русская“, уже по природѣ и отъ рожденія своего и этого просто невозможно избыть какъ „креста“ нельзя избыть „христіанину“... Мы—*не Русские*, насколько мы не понимаемъ, что такое „Царь“. Ибо такъ родилось все, такъ устроилось все, и просто это есть „сложеніе (конструкція) чиселъ нашей страны“.

Я выразилъ кратко и „по-своему“ ту мысль, которая на протяженіе *тысячи страницъ*—перевиваясь миріадами цитать изъ ученыхъ книгъ и изъ нѣкоторыхъ отмѣченныхъ рѣчей въ Г. Думѣ и въ нѣкоторыхъ законодательныхъ памятникахъ—развивается въ одушевленномъ, твердомъ и смѣломъ трудѣ одесского профессора, г. Казанскаго. Я былъ это лѣто на югѣ, и мнѣ передавали впечатлѣніе отъ „одесской революціи“ личные ея зрители,—когда Евреи бѣжали по улицамъ съ наглыми и побѣдными криками: „издохло ваше самодержавіе“. И слово это у людей, ничего раньше опредѣленно не думавшихъ о „самодержавії“, не думавшихъ за лѣни и вообще за „бытовой жизнью“—вызвало ужасъ и яростный отпоръ въ движениі сердца: „Нашъ Царь! Нашъ Царь!—мы не хотимъ вашихъ еврейскихъ вождей, будь то самъ Давидъ или самъ Соломонъ“. Для современниковъ и главное для будущаго передаю эти буквальные слова, мною слышанныя, изъ кусочка „русской революціи въ Одессѣ“; при томъ слышанныя изъ устъ очень образованной (по-моему геніальной) Румынки, но очень „усвоившій себѣ“ все рус-

ское. Проф. Казанскій безспорно родомъ великорусъ изъ среднихъ губерній, тоже вѣроятно пережилъ лично дни одесской революціи; и оттого книга его—не безкровный ученый трактать, а одушевлениое и „съ кровообращеніемъ въ себѣ“ политическое, историческое и религіозное исповѣданіе... Для „ученыхъ“, для „профессоровъ“, которые вообще являются собой бальзаковскую „шагреневую кожу“, уже безъ одушевленія и дыханія—это очень ново... Свои, „ученые“, товарищи,—вѣроятно, „распнутъ“ г. Казанскаго. Но его трудъ приметъ Россія. Его трудъ не „между-народно-ученый“, а русскій трудъ... Давно пора!..

Смыслъ его въ томъ, что несмотря на наличность у насъ всей конституціонной обстановки и на наличность парламента—чего не отрицаешь и не порицаешь г. Казанскій,—у насъ тѣмъ не менѣе въ глубинѣ вещей, въ глубинѣ всѣхъ русскихъ обстоятельствъ, конституціи нѣть, конституція была-бы бѣдствіемъ, конституція невозможна и, наконецъ, она прямо вызвала-бы непониманіе себя. А если-бы ее дѣйствительно люди поняли и почувствовали—то это вызвало-бы что-то въ родѣ народнаго помѣшательства и яростное отверженіе себя, яростную и даже кровавую борьбу противъ себя народа. Если бываетъ и бывало, что „народъ иногда бунтуется“,—то это кажущіеся и мнимые „бунтики“; но настоящій и страшный бунтъ можетъ произойти только за самодержавіе. Настоящее возстаніе поднялось-бы въ единственномъ случаѣ, если-бы народъ почувствовалъ, что у него отнято самодержавіе, т. е. отнять предметъ тысячелѣтней вѣры.—„Онъ, Батюшка, казнить, Онъ и милуетъ“, „Онъ устраиваетъ, Онъ все знаетъ“, „Какъ Онъ, Батюшка—хочетъ, а мы—за кимъ“.

Выше всего и прежде всего. „Царь есть защитникъ народный“, главное—защитникъ слабыхъ и обижденныхъ; сиротъ. „Безграничность“ воли царской прямо вытекла изъ „воли“ народнаго, дабы эта „защита“ и „защитимость“ были дѣйствительно безграничны, не ограничены, нескончаемы, всемогущи. Какъ только народъ увидитъ „границу“ Царю,—границу-ли въ „барскомъ положеніи“, границу-ли во власти духовенства, границу въ законахъ, правилахъ, привычкахъ, традиціяхъ, границу въ „народныхъ представителяхъ“, въ „конституціи“, такъ народъ растеряется, сироты растеряются

и завоевать: „кто же во всякомъ случаѣ и во всякомъ зломъ обстояніи насть защищитъ!!!“—„Подайте намъ Его безконечнаго, который бы всякую препону прорвалъ и всякаго человѣка и людскую массу одолѣлъ“. Вотъ. Это—вопль сиротъ обиженныхъ, безправныхъ, не могущихъ,—въ которыхъ пропорционально „Я не могу“—каждаго лица живеть коррективъ: „Пусть Онъ можетъ все“. И этотъ вопль до того могущественъ, неодолимъ, это есть такой вѣтъ океана въ бурю,—что онъ опрокидываетъ какъ щепку все, все, что мы умѣемъ вообразить и что мы сумѣли бы построить. По сему претензія кого-либо сказать:

— Онъ не можетъ... Позвольте-съ, въ данныхъ обстоятельствахъ и по такимъ-то условіямъ—онъ не можетъ, Царь не можетъ...

Эта претензія вызвала бы такой ревъ народнаго урагана, послѣ котораго отъ „претензій“ и щепокъ нельзя было бы найти.

Никакія бумажныя „конституціи“, будь даны онъ даже „по всей формѣ“, не измѣнили бы и не измѣнятъ этой „конституціи“, т.-е. сложенія, устройства Русской земли... И теперь Государь точь-вѣ-точъ такъ же самодержавенъ, какъ Иоаннъ Грозный... который даже „ушелъ въ монастырь“ Богу молиться, „отрекшись отъ самодержавія“ и назначивъ вместо себя царемъ Симеона Бекбулатовича, т.-е. „кой-кого“. Онъ „отрекся отъ царства“, а народъ попрежнему его одного считалъ царемъ. Примѣръ данъ. Фактъ испытанъ. Царь вовсе „не на тронѣ въ Москвѣ“,—а есть у каждого русскаго въ сердцѣ „тронъ“, и на немъ сидитъ „одинъ Царь для всѣхъ“. И вотъ этого-то „въ сердцѣ Царя“ нельзяничѣмъ и никакъ ограничить.—Есть.

Ну, что вы сдѣлаете съ „есть“. *Есть, бытие*,—это во главѣ всего, выше идей, пожеланія.

— „Господи, если бы климатъ въ Россіи былъ какъ въ Италіи“.

Но намъ принадлежитъ любить русскій климатъ, потому—что онъ есть между  $36^{\circ}$  и  $71^{\circ}$  параллелями и отъ „меридіана Вержболова“ до „меридіана Берингова пролива“.

Вотъ почему всякая революція есть могила самой себѣ.

И она полна червей. И только. А „люди“ всѣ поверхъ могилы въ „нашемъ миломъ царствѣ“, гдѣ „всякая шестерочка

дѣлится на два“, и гдѣ намъ Потемкины и Шуваловы, Панины и Воронцовы, наконецъ, даже Сперанскій и Аракчеевъ ближе, понятнѣе и интимнѣе Перикла и Кимона: потому что тѣ—чужie, и намъ вовсе не понятны.

Сперанского мы уговоримъ: какъ я уговорю Перикла?! Онъ не пойметь, онъ не станетъ слушать.

Аракчееву я дамъ полное повиновеніе, онъ успокоится: но какъ и что я дамъ Кимону, когда ни я его не понимаю, ни онъ меня не понимаетъ.

И оттого, что „Сперанскій можетъ насъ слушать“,—черезъ 30 лѣтъ пришелъ прелестный Станкевичъ.

И оттого, что Аракчееву повиновались, протекли четыре десятка лѣтъ и Россія зашумѣла въ „эпоху преобразованій“.

„А потому, что она Россія и она милая“.

И потому, что Царь избираетъ и довѣряетъ, совѣтуясь съ Богомъ, душей своей и разумомъ.

Вдругъ бы Его ограничить. Господи: въ какой точкѣ? Въ какой моментъ? Въ какомъ состояніи?

„Вотъ когда онъ приблизить къ себѣ Жуковскаго или Станкевича“.

Господи: на 1000 лѣтъ одни „Станкевичи“. Я бы задохнулся и все бы задохнулись въ сахарѣ, стихахъ и лекціяхъ Грановскаго.

И вздохнули бы:

— Господи, хоть бы немного желѣза, твердости, повелительности и шумной бранной славы.

И дѣйствительность, и мечты, и грезы человѣческія, народныя — безконечны, неуловимы, неисчерпаемы. Неисчерпаемо нутро человѣческое...

И этому совершенно соответствуетъ то благое устроеніе, что есть Нѣкто среди насъ Одинъ, коему все возможно... Возможно не только въ мысли, но въ самой мечтѣ. И мы счастливы просто присутствовать при безконечномъ царскомъ творчествѣ.

Ограничение Царя есть умаленіе всѣхъ насъ; „ограниченіе царское“, т.-е. строгая и формальная конституція, это въ своемъ родѣ Огюсть Конть и его „позитивизмъ“, т.-е. что-то деревянное, ограниченное, искусственное; что-то машинное и безчеловѣчное въ центрѣ человѣческихъ дѣлъ.

А „неограниченная царская власть“—это философія Платона и Шеллинга, это стихи Пушкина, неизреченность Байрона, задумчивость Шелли.

И будеть ли онъ „Анчаромъ“ (критика враговъ)—слава Ему.

Будеть ли благодѣтелемъ и защитникомъ сиротъ и обижденныхъ—слава Ему.

Не потому что онъ хорошъ.

А потому что „Онъ“—„Онъ“.

Точка. А кто будетъ спорить, того мы будемъ колотить.  
„Потому что мы Русскіе“. И потому что спорящій крадеть мою душу и убиваетъ меня.

*B. Розановъ.*

---

## II.

**Н. Лоссакій. Интуитивная философія Бергсона.** Книгоизд. „Путь“, Москва. 1914 г

Философія Бергсона, какъ философія жизни—показываетъ призрачность многихъ философскихъ построеній и раскрываетъ нѣкоторые слои жизни. Въ ней не только дѣйствительно туманное метафизическое *настроение*, но и налично возможно отчетливое метафизическіе и гносеологическое *построение*. Правда, философія Бергсона вскрываетъ лишь ближайшіе слои жизни, не углубляясь до первоисточниковъ: для Бергсона живая личность лишь струя и всплескъ общаго потока жизни. Поэтому метафизика Бергсона постепенно переходитъ въ небпределенный біологическій витализмъ, неминуемо вліяющій и на гносеологію. Живая, но безличная, мысль сливается съ общимъ сознаніемъ, индивидуальность становится поверхностнымъ „я“, а глубинное „я“—уже теченіе общаго потока жизни. Гносеология превращается въ страницу психологии, а психологія, будучи метафизическіи-истолкованной, становится вѣтвью біологіи и въ то же время, поскольку жизнь—проникновеніе сознаніемъ *матеріи*, вѣтвью физіологии. Такимъ образомъ, метафизическіе *настроение* философіи Бергсона, логически построяемое, наклоняетъ метафизику жизни къ обычному витализму, а гносеологію чрезъ психологію—къ физіологии. Но это—лишь *наклонъ*, лишь тенденція. Въ философіи Бергсона дѣйствительно чувствуется шумъ.